

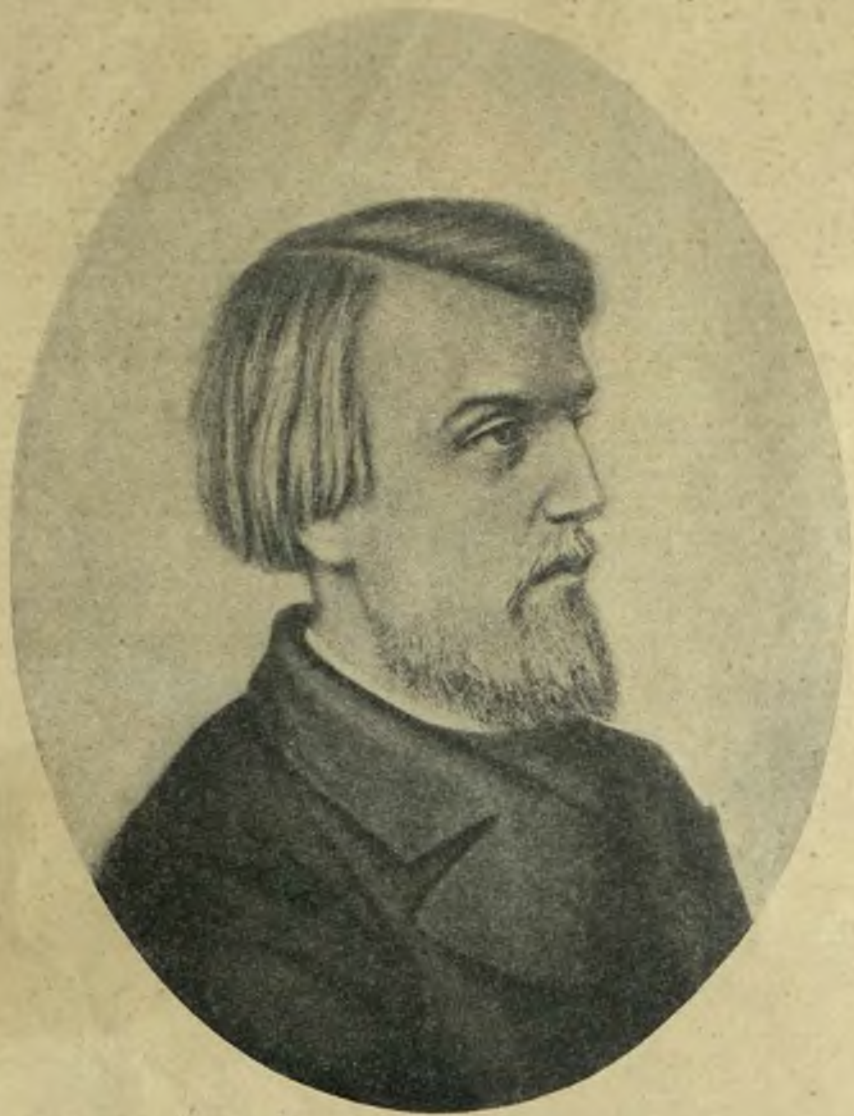
83.3P1

Б-43



В. БЕЛИНСКИЙ

Государственная Центральная Библиотека
г. Свердловск



В. Франк

838 P1
B43

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Ф. М. ГОЛОВЕИЧЕНКО

53211

Детская Центральная Библиотека
г. Свердловск

О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА — 1947

83,3 (2000-2011)

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

... Мыслью новой,
Стремленьем к истине суровой
Горячий труд его дышал.

Н. А. Некрасов.

I

С глубоким чувством любви и гордости произносим мы имя великого русского критика, одного из славных предшественников русской социал-демократии, Виссариона Григорьевича Белинского.

Исключительно многогранная и целеустремленная деятельность гениального философа, литературоведа и социолога сыграла огромную роль в поступательном движении русской культуры.

Белинский, гениальный мыслитель-революционер, сконцентрировал в себе и выразил с большой силой и проникновением глубокие думы и свободолюбивые идеалы русского народа. И. В. Сталин назвал русскую нацию нацией «Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..»

Белинский был гораздо больше, чем литературный критик и публицист, больше, чем историк литературы. Революционер-демократ, он боролся за великие идеалы социализма. В то время все общественные идеи выражались через литературу и критику. «У нас общественная мысль преимущественно выражается в литературе», — писал Белинский. Литература являлась голосом просыпающихся народных масс, единственной возможностью говорить сколько-нибудь свободно. В таких условиях роль великого критика выросла в роль трибуна.

«Я — в мире борец», — говорил о себе Белинский.

Не случайно П. А. Вяземский писал Шевыреву, что Белинский — «литературный бунтовщик, который, за неимением у нас места бунтовать на площадях, бунтовал в журналах». В критических статьях Белин-

ский касался всего, что волновало общество, — политической жизни России и Европы, морали, права, экономики, философии, литературы и искусства.

Природное дарование и широкий ум придали духовному облику Белинского черты творческой оригинальности и подлинного своеобразия. Это был рыцарь, неутомимо и бескорыстно служивший русскому народу, распространявший светлые идеи демократической свободы.

Он воспитал целое поколение мыслящих людей и талантливых писателей, будил политическое самосознание народа.

Всю свою жизнь гениальный критик отдал родине и народу. Он любил Россию пламенно и страстно. «Чем больше живу и думаю, тем больше, кровнее люблю Русь», — писал Белинский. «Он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне». (Тургенев И. С.)

О русском народе Белинский говорил:

«Я душевно люблю русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе».

Он верил, что русский народ, освободившись от цепей самодержавия, скажет миру «свое слово, свою мысль», внесет богатый вклад в общечеловеческую культуру. «Может быть, — писал он, — назначение нашего отечества, нашей великой Руси, состоит в том, чтобы слить в себе элементы всемирно-исторического развития, доселе исключительно являвшиеся только в Западной Европе».

В вариантах к «Очеркам Гоголевского периода» Н. Г. Чернышевский прекрасно охарактеризовал революционную природу патриотизма Белинского: «Редкие качества ума и характера, которыми природа на-

дела автора статей о Пушкине, были посвящены, как мы уже указали, служению одной высокой идее — служению на пользу родной страны, без страха и лицемерия. Любовь к родине, мысль о благе ее, одушевляла каждое его слово, — и только этим страстным увлечением объясняется и непреклонная неутомимая энергия его деятельности и его могущественное влияние на публику и литературу.

II

Вносарион Григорьевич Белинский родился 1 июня 1811 года, в Свеаборге, где его отец служил флотским врачом.

В 1816 году отец Белинского уволился из морского ведомства и переехал с семьей в г. Чембары Пензенской губернии. Там протекали детские и юношеские годы будущего критика. Безотрадная домашняя обстановка, окружавшая мальчика, тяжелые сцены провинциальной жизни оставили неизгладимый отпечаток в сознании Белинского, пробудив в нем вражду к жестокой действительности царской России.

Учился Белинский сначала в чембарском уездном училище, а с августа 1825 года в пензенской гимназии. Уже в училище юноша полюбил русскую литературу, отдавая все свободное время чтению произведений русских писателей XVIII—XIX веков.

В гимназии Белинский познакомился со статьями передовых критиков того времени — Н. А. Полевого и Н. И. Надеждина, заинтересовался вопросами эстетики, истории и философии. К этому же времени относятся его первые поэтические опыты.

Не окончив гимназии, осенью 1829 года Белинский отправился в Москву и после долгих мытарств стал студентом словесного факультета Московского университета.

Москва произвела на него огромное впечатление как русский город, сохранивший национальные черты, богатый историческими воспоминаниями, озаменованный печатью героической древности.

Московский университет того времени не мог дать своим питомцам солидных научных знаний. Почти все профессора были людьми отсталыми, лекции читались по чужим книгам и старым запискам.

Правда, в бытность Белинского в университете начали читать лекции молодые профессора Н. И. Надеждин, М. Г. Павлов, оставившие светлую память в сердцах своих слушателей.

В университет со всех концов России вливались юные силы. Там учились: А. И. Герцен, Н. М. Сатин, М. Ю. Лермонтов, Н. П. Огарев, К. С. Аксаков, Вадим Пассек, Н. В. Станкевич.

Молодые люди собирались на литературные вечера, объединялись в кружки и вели горячие споры по во-

просам философии, морали, истории и искусства. В аудиториях из рук в руки ходили тетрадки запрещенных стихов Рылеева и Пушкина. Шумно проходили вечера в одиннадцатом номере студенческого общежития, где жил Белинский. Там по целым ночам шли споры о романтизме и классицизме. Белинский с воодушевлением защищал романтизм, нападая на холодное риторическое искусство. Вместе с товарищами он усердно посещал театр, восторгался Мочаловым в роли Отелло и Карла Моора, любил игру Щепкина, с которым впоследствии стал близок.

В дальнейшем участники литературных вечеров образовали два кружка: Герцена и Станкевича. Кружок Герцена по преимуществу интересовался общественными теориями; утопический социализм Сен-Симона окончательно установил направление кружка. Белинский входил в кружок Станкевича. Члены этого кружка, увлекаемые заманчивой идеей решить глубочайшие вопросы человеческой мысли, отдались больше философии и эстетике. Здесь вырабатывалось общее воззрение на жизнь, литературу, искусство и философию. Но никто из участников не мог так глубоко понять запросы эпохи и откликнуться на них, как Белинский, превосходивший своих товарищей силой ума, глубиной эстетического чувства и революционной настроенностью.

В начале 1831 года Белинский читал в товарищеском кругу свою драму «Дмитрий Калинин». Драма как литературный памятник любопытна во многих отношениях: прежде всего она интересна как показатель критического настроения, под властью которого находилась передовая молодежь того времени. Драма пропитана духом ненависти и протеста против крепостного права и угнетения личности.

«В этом сочинении, — писал автор к родителям, — со всем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине довольно живой и верной представил тиранство людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных. Герой моей драмы есть человек пылкий, с страстями дикими и необузданными; его мысли вольны, поступки бешены, — и следствием их была его гибель». Дмитрий Калинин — центральный герой драмы — говорит о тяжелой судьбе крепостных, произносит пламенную речь против гибельного права «одним людям поработать своей власти — волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище — свободу».

Друзья молодого автора советовали поставить пьесу в театре. Он представил ее на рассмотрение цензурного комитета. Члены цензурного комитета — профессора Московского университета — нашли произведение «безнравственным», «бесчестным» университет. Университетские чиновники, придравшись к тому, что Бе-

линский по болезни не держал некоторые экзамены, исключили его из университета.

Очутившись в сентябре 1832 года за порогом университета, без средств к жизни, Белинский не пал духом. Он давал уроки, писал рецензии и заметки для журналов.

Претерпевая неудачи, он не приходил в отчаяние, дни и ночи проводил за работой, продолжая глубокое изучение философии, истории, русской и мировой литературы.

Весной 1833 года Виссарион Григорьевич сблизился с профессором Н. И. Надеждиным, издателем и редактором «Телескопа» и «Молвы». Надеждин предоставил Белинскому вестни критический отдел, а в свое отсутствие доверял полное руководство журналами.

Так началась плодотворная критическая и публицистическая деятельность Белинского, протекавшая сначала в московских журналах — «Молва» и «Телескоп» (1834—1836), «Московский наблюдатель» (1838—1839), а потом в петербургских — «Отечественные записки» Краевского (с 1839 по сентябрь 1846 г.) и «Современник» (с декабря 1846 г.), издававшийся Некрасовым и Панаевым.

III

В. Г. Белинский прошел сложный и противоречивый путь философских и эстетических исканий.

Ключом для понимания философского и политического развития великого критика является характеристика, данная Лениным развитию революционной мысли в России. «Марксизм, — писал Ленин, — как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы» (Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме, т. XXV, стр. 175).

В лице Белинского русская передовая философия переходит за короткий срок от идеализма к материализму.

В области эстетики Белинский создал стройную теорию реалистического искусства. По словам Н. Г. Чернышевского, в деятельности Белинского и Герцена «в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде... Белинский и главнейшие из его сподвижников стали людьми вполне самостоятельными в умственном отношении».

Мировоззрение В. Г. Белинского формировалось под влиянием русской жизни, ее социальных против-

речий и борьбы русского народа за прогресс и культуру. Неистовый Виссарион воплотил в своем творчестве характернейшие черты революционного просветительства, о которых говорит Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся».

В. Г. Белинский внимательно следил за достижениями европейской философской, политической и эстетической мысли своего времени. В конце жизни он познакомился с трудами левых гегельянцев (Штрауса, Фейербаха, Бруно Бауэра); в 1844 году прочел в «Немецко-французском ежегоднике» статьи Маркса — «К еврейскому вопросу» и «К критике гегелевской философии права».

Философия никогда не была для него узко научной областью, а была вопросом огромного общественно-политического значения. Его философская система неразрывно связана с жизнью, с борьбой против крепостного права, с борьбой за демократию и выражает нарастание крестьянской революции в России в условиях жесточайшего гнета.

Белинский наследует революционные традиции русских передовых деятелей: Радищева, декабристов. Он пропагандировал прогрессивные идеи произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена.

Белинский никогда не был пассивным созерцателем и никогда не отрывал теорию от жизни. В этом его коренное отличие от немецких идеалистов. Уже в первых статьях, написанных в идеалистический период, он делает упор не на божественную вневременную идею, а на диалектическое развитие. Для «идеи нет покоя; она живет беспрестанно, т. е. беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить». Он был поборником просвещения масс, приобщения народа к общественной жизни и верил в преобразующую силу труда. Через все статьи Белинского проходит мысль о единстве сознания и природы, единстве личности и общества.

IV

С сентября 1834 года в еженедельнике «Молва» стала появляться частями программная статья молодого критика под названием «Литературные мечтания. Элегия в прозе», доставившая автору широкую известность. Она поразила передовых читателей смелой мыслью, тонким литературным чутьем и открыла новую эпоху в русской критике.

«Литературные мечтания» вышли в момент увлечения Белинским идеалистической философией.

Весь мир представлялся автору «дыханием единой, вечной идеи, мысли единого вечного бога». Перед искусством ставилась тема — изображать идею всеобщей жизни природы.

Рассматривая искусство как «выражение великой идеи вселенной в ее бесконечно разнообразных явле-

ниях», критик нападает на тенденциозное искусство, на тех поэтов, которые стремятся заставить читателей смотреть на жизнь со своей точки зрения. И здесь он приходит к крайним выводам: «Поэзия не имеет цели вне себя. Доколе поэт следует безотчетной мгновенной вспышке своего воображения, доколе он иррационален, доколе он и поэт; но как скоро бы предположил себе цель, задал тему, он уже философ, мыслитель, моралист». Правда, в борьбе с литературой, проникнутой духом служения идее «православия, самодержавия и народности», эти установки имели свой положительный смысл. Они направлялись против реакционных взглядов Фаддея Булгарина и Николая Греча, требовавших безоговорочного признания и прославления писателем мудрости самодержавного правления.

Не допуская возможности в искусстве «учить и исправлять», Белинский ошибочно отнимает у сатиры и комедии право называться искусством, но отмечает их историческое значение как произведений своего времени. Творческий акт представлялся молодому критику как «плод возвышенного ума и горячего чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось из его души». В «Литературных мечтаниях» критик защищал теорию бессознательного творчества и непосредственных впечатлений.

Однако следует заметить, что просветитель-демократ уже здесь обнаруживает противоречие, отходя от идеализма. Не выработав еще своей стройной реалистической системы, он, как подчеркнул Чернышевский, «был пропагандистом реализма по преимуществу».

В «Литературных мечтаниях» выдвигается тезис о литературе как выражении народного духа. Критик говорит об общественном характере литературы, ставит художественную литературу в связь с тем, насколько читатель в ней чувствует «веяние» и «дыхание» жизни.

С выступлением Белинского впервые в русской критике раздался голос, встревоженный за судьбу своего народа и литературы, первый раз откровенно высказался писатель об отношении литературы к обществу, о том, что литература не праздная фантазия писателей, а потребность жизни, плод свободного вдохновения и усилия людей. Критик указывал, что литература непременно должна быть проявлением национального, народного духа, символом внутренней жизни народа, выражением ее «сокровеннейших глубин и биений». Она служит народу на пути его прогрессивного развития, наполняя жизнь человека высоким, благородным содержанием. Анализируя русскую словесность от Ломоносова, первого ее гения, до Кукольника, критик пришел к выводу, что у нас нет литературы. В этом заявлении скрывался глубокий смысл. В представлении Белинского литература — народное самосознание, проявленное в художественном слове.

Всякому самосознанию присущи и критика окружающей жизни, и выражение желаний лучшего, более совершенного. Такой литературы, по мнению автора «Литературных мечтаний», в то время в крепостной России не было. Он отметил лишь трех замечательных поэтов: Державина, Крылова, Грибоедова. Но они, по его мнению, не составляли еще русской литературы как выражения народного самосознания.

Только в Пушкине и в Гоголе он заметил зарождение подлинно национальной литературы, то есть такой литературы, которая начала отражать народные интересы.

Критик подошел к обзору литературы с новых, демократических позиций и решительно произвел переоценку всех ценностей.

Со всей силой и страстью он обрушивается как на придворное искусство екатерининского века, так и на тенденциозную, вычурную монархическую литературу Греча, Булгарина, Сенковского и их единомышленников, смешных и жалких со своими детскими претензиями на «великость».

В оценке некоторых русских писателей XVIII века Белинский оказался неправ. Он считал сатиры Кантемира плодом ума и холодной наблюдательности, а не выражением живого и горячего чувства. У Тредьяковского он не находит ни ума, ни чувства, ни таланта. Однако Ломоносов дорог критику как народный гений, как русский человек, способный ко всему великому и прекрасному не менее всякого европейца. С Ломоносова он начинает историю нашей литературы и называет его Петром Великим в литературе.

Поэзия Сумарокова в статье несправедливо названа жалкой и смешной. Державин отмечен как первый народный оригинальный поэт, поэзия Державина — «это полное выражение, живая летопись, торжественный гимн, пламенный дифирамб века Екатерины, с его лирическим одушевлением, с его гордостью и настоящим и надеждами на будущее, его просвещением и невежеством». Мысли Белинского о подражательном характере русской литературы являются несомненным преувеличением. Белинский стремился испровергнуть тех поклонников старины, которые, не признавая реалистического искусства Пушкина и Гоголя, пытались вернуть русскую литературу к временам Сумарокова и Тредьяковского. Рассматривая творчество писателей десятых и двадцатых годов XIX века, критик исходит в своих оценках из того, насколько эти писатели приблизились в своем творчестве к реальной жизни.

Имя Карамзина, — отмечал критик, — бессмертно, но сочинения его, исключая «Историю государства Российского», умерли и не воскреснут. Это произошло потому, что он плохо знал нужды России и в своих сочинениях редко бывал искренен и естествен. О Крылове сказано, что он гениальный поэт

русский, потому что его басни выражают народный дух.

Жуковского критик приветствовал за смелый и энергичный поэтический язык, за то, что он явился основоположником романтической школы в русской литературе.

Третье десятилетие XIX века великий критик называет пушкинским периодом.

«В это десятилетие, — писал Белинский, — мы переживали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось к нам через Балтийское море».

Пушкина он называет сыном своего времени, который шел наравне со своим отечеством, был представителем развития его умственной жизни, как подлинно народный поэт.

С редкой проницательностью Белинский поставил в первой статье вопрос о народе и народности. Он указывал, что каждый народ выполняет свою миссию в общей жизни народов и вносит в общую сокровищницу мирового прогресса свою долю, свой вклад, — каждый народ выражает собою одну какую-нибудь сторону жизни человечества. Исходя из этого, он настойчиво развивал идею необходимости создания русского общества, в котором бы «выразилась физиономия могучего Русского народа». Он хочет, чтобы на Руси было просвещение, созданное отечественными трудами, взращенное на родной почве.

Основная идея «Литературных мечтаний» заключается в признании разрыва между народными массами и образованным обществом. Однако, надеясь на преодоление этого трагического разлада, Белинский смотрел на будущее русской литературы с уверенностью и крепкой надеждой.

«У нас нет литературы: я повторяю это с восторгом, с наслаждением, — писал критик, — ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов. Присмотритесь хорошенько к ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я прав... Придет время, — просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа».

Белинский в этом прогнозе оказался прав.

«Литературные мечтания» отвечали духу времени и демократическим интересам новых людей. Отсюда важное значение имеет обращение автора к своему читателю, призыв к действию и борьбе, указание на то, что без борьбы нет заслуги и без действия нет жизни.

«Гордись, — писал критик, — гордись, человек, своим высоким назначением; но не забывай, что божественная идея тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь

есть действие, а действие есть борьба, не забывай, что твое бесконечное, высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего Я в чувстве любви».

И далее призывал:

«Отрекись от себя, подави свой эгоизм, вопреки ногам твое своекорыстное Я, дыши для счастья других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага».

Вторая крупная работа Белинского — статья «О русской повести и повестях Гоголя» 1835 года, — показывает значительный рост реалистических тенденций в философских и эстетических воззрениях молодого критика.

Анализируя развитие поэзии и литературы, начиная от античного искусства, Белинский пытается выяснить соотношение между высшей идеей и реальной жизнью на разных этапах исторического развития искусства (древнегреческое, средние века, новое время). Для него уже ясны два пути творчества:

«Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи... или воспроизводит ее во всей наготе и истине, оставаясь верным всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности».

Здесь Белинский уже понимает объективную верность, историческую неизбежность победы реального направления. Поэзия реальная провозглашается истинной и настоящей, «поэзией нашего времени, поэзией жизни, поэзией действительности».

Требование реализма поставлено во весь рост, и впоследствии критик разовьет его в целое учение.

В реалистическом духе дается и объяснение развития русской повести от Карамзина до Гоголя. Мысли Белинского о соотношении между эпосом и романом, изложенные в данной статье, представляют ценный вклад в научную теорию литературы.

Статья о стихотворениях Бенедиктова, напечатанная в том же году, устанавливает исторические изменения эстетических законов. Белинский жестоко критикует каноны классической эстетики с ее «украшенным подражанием природе». Он говорит об изменении в связи с ходом общественного развития законов изящного и ставит перед критикой серьезные требования, сохраняющие живое значение и на сегодняшний день:

«Критику должны быть известны современные понятия о творчестве — иначе он не может и не имеет права ни о чем судить».

В 1836 году Белинский начинает чувствовать противоречивость своих взглядов на «печальную действительность».

В поисках выхода из противоречия между внешним миром и идеалом Белинский уходит в царство мысли. В письме Бакунину 16 августа 1837 года он писал: «Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда

двоилась в моих понятиях... Прямухинская гармония (Прямухино — именьи М. Бакунина. — Ф. Г.) и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота...»

При этом уходе в субъективный идеализм в эстетических воззрениях Белинского остается прежнее противоречие между требованием «самоцельности» поэзии и необходимости верного отражения духа времени.

Вместе с тем наряду с уходом от реальности Белинский начинает интересоваться тем, кто путем революции пытается преобразовать действительность. Он сочувствует террористам Великой французской буржуазной революции, своеобразно принимая «фихтеанство, как робеспьеризм».

Статья «Ничто о ничем» является переходной в ряду статей раннего периода.

Она продолжает линию «Литературных мечтаний» в борьбе против «официальной литературы». Статья посвящена разбору журналов правительственного направления, главным образом петербургских — «Библиотеки для чтения» Сенковского, «Северной пчелы» Греча и Булгарина. Критик отмечал торгашеский дух этих журналов, угодничество перед «сильными мира», циничный тон, ненависть к тому, что озаменовано талантом и независимостью от официальных мнений. Петербургским журналам противопоставляются московские: «Молва», «Телескоп», «Московский наблюдатель», в которых можно было, по замечанию автора, заметить мысль и благородные порывы.

Подчеркивая в этот период своего философского развития огромное значение самовоспитания индивидуума, критик, естественно, придает существенное значение эстетическому чувству и эстетическому воспитанию человека. С его точки зрения эстетическое чувство есть основа добра и нравственности, есть необходимое условие человеческого достоинства.

«Только при нем возможен ум, — писал он, — только с ним ученый возвышается до мировых идей, понимает природу и явления в их общности, только с ним гражданин может нести жертву отечеству и свои личные надежды и свои частные выгоды, только с ним человек может сделать из жизни подвиг и не сгибаться под его тяжестью».

Критик резко обрушивался на тех, кто, умаляя значение чувства изящного, оставался исключительно при «здравом смысле».

«Пусть процветает в Северо-Американских Штатах гражданское благоденствие, — писал великий критик, — пусть цивилизация дошла до последней степени, пусть тюрьмы там пусты, трибуналы праздны, но если там, как уверяют нас, нет искусства, нет любви к изящному, я презираю этим благоденствием, я не уважаю этой

цивилизации, я не верю этой нравственности, потому что это благоденствие искусственно, эта цивилизация бесплодна, эта нравственность подозрительна... Цивилизация тогда только имеет цену, когда помогает просвещению, а следовательно и добру».

В 1836 году правительство закрыло «Телескоп» за напечатание «Философического письма» Чаадаева. Издателя журнала Надеждина выслали из Москвы.

Для Белинского снова начались тяжелые годы черной нужды и полуголодного существования. Ради заработка пришлось взять место преподавателя русского языка. Только к весне 1838 года он снова возвращается к журналистике, став фактически редактором «Московского наблюдателя», который с того момента стал органом кружка Станкевича.

Реальная жизнь ставила перед Белинским животрепещущие вопросы, отвернуться от которых великий мыслитель не мог. Он скоро почувствовал ограниченность абстрактного мышления и в письмах друзьям писал: «Я ненавижу мысль, ненавижу как отвлечение: моя природа враждебна мышлению».

Осенью 1837 года Белинский переживал душевный кризис. От гордого презрения к действительности он перешел к полному ее оправданию, к признанию ее вполне разумной и законной во всех явлениях. Он стремится постигнуть в жизни разумное проявление объективного развития мировой идеи. Сам он и его друзья называли этот период «примирением с действительностью». Почти три года, — с 1837 по 1840 год, — он держался этого взгляда и доходил до крайних, ошибочных выводов.

«Теперь, — писал он, — когда я нахожусь в созерцании бесконечного, теперь я глубоко понимаю, что всякий прав, и никто не виноват, что нет ложных мнений, а есть моменты духа. Кто развивается, тот интересен каждую минуту, даже во всех своих отклонениях от истины».

В этот период увлечения идеей самоусовершенствования личности он отрицал значение политической борьбы.

«Только в ней (в философии. — Ф. Г.), — пишет он 7 августа 1837 года Ивану, — ты найдешь ответ на вопросы души твоей, только она даст мир и гармонию душе... ты будешь не в мире, но весь мир в тебе... Пути всего оставь политику и бойся всякого политического влияния на свой образ мыслей. Политика у нас в России не имеет смысла... Просвещение — вот путь к ее счастью...» Впоследствии Белинский отказывается от идеалистического понимания философии как аполитичной науки и осознает ее активную роль в жизни общества.

Философское примирение с действительностью приводит Белинского к оправданию монархического строя, порождает мысль о замене политического влияния на ход жизни нравственным усовершенствованием людей,

к убеждению, что гражданская свобода должна быть плодом внутренней свободы каждого человека. Однако и в этот момент он не скрывал ненависти к крепостничеству, но ему казалось, что благодаря отсутствию в России майоратства «издыхает наше дворянство само собой, без всяких революций и внутренних потрясений».

Идея примирения нашла выражение в статьях: «Гамлет, драма Шекспира», «Очерки Бородинского сражения», «Менцель — критик Гете», «Горе от ума». Здесь он приходит к апологии российской действительности, в чем потом горько кается.

Трагедию Гамлета критик видит «в конфликте субъективного сознания с объективной данностью». Гамлет, по Белинскому, — трагедия человеческого духа вследствие сомнения в превосходстве объективного разума.

Причину дисгармонии и борьбы Гамлета с самим собой он определяет словами: «несообразность действительности с его идеалами... из этого вышла слабость и нерешительность, как необходимое следствие дисгармонии».

В «Очерках Бородинского сражения» утверждается существующая действительность как исторически закономерная, а следовательно, и разумная. Там же автор призывает отрешиться от субъективной личности, как от лжи и призрака, и смириться перед разумной необходимостью мирового начала.

Наибольшее развитие идея примирения нашла в статье «Менцель — критик Гете».

«Все, что есть, то необходимо, разумно и действительно», — писал критик. В этой статье Белинский характеризует отрицательно героев французского революционного конвента, называет их «школьниками» и «маленькими великими людьми», находит разумным, что Наполеон освящал «кровавую комедию». Здесь же он нападал на Менцеля, порицавшего Гете за равнодушное отношение к общественным вопросам, оспаривал взгляд, что искусство должно служить обществу, и обосновывал идею полного отрешения искусства от жизни. Основным критерием художественности признается в этот период объективность.

«Дело художников, — писал Белинский, — созерцать «полное славы творенье» и быть его органами, а не вмешиваться в дела политические и правительственные».

Однако позиция примирения с крепостнической действительностью и объективистское представление об искусстве находились в большом разрыве с демократическими и просветительскими настроениями несторового Виссариона, пытавшегося в царстве разума найти оправдание противоречиям жизни, которые он не мог не заметить. Даже в этот трагический момент он не терял чувства жизни. Как только он обращался к реальным вещам, от теории переходил к практике, обна-

живались разительные противоречия его натуры — примирительные настроения, политическое благодушие сменялись чувством ненависти к окружающему порядку, сочетались с элементами социального протеста. Примирение не избавляло от ужасов рабской жизни, не спасало от Булгарина и Греча, от чиновников-крючкотворцев.

Сама жизнь и реалистическая литература, полная протеста против порядков николаевской России, умалявших достоинство человека, расшатали те основы, на которых покоилось стоическое признание и оправдание Белинским действительности. Произведения Лермонтова, Кольцова, Гоголя ярко осветили уродливые стороны русской жизни сороковых годов XIX столетия. Критику стало ясно, что его «действительность» прозрачна, и, освобождаясь от иллюзорной веры в могущество просвещения, Белинский проникается сознанием необходимости революционного переустройства общества. Не малую роль сыграл в этом А. И. Герцен, указав критику на опасность занимаемых им позиций «примирения».

К этому времени изменились и внешние обстоятельства жизни Белинского. В начале июля 1839 года он оставил «Московский наблюдатель» и условился с А. А. Краевским о сотрудничестве в «Отечественных записках». В октябре он переехал в Петербург.

Первые же впечатления от императорского Петербурга показали критику, как далека жизнь от разумности.

«Плохо, брат, так плохо, что не зачем бы и жить. В душе холод, апатия, лень непобедимая... Российская действительность ужасно гнетет меня», — признавался он Боткину (16 июня 1840 г.).

От этого признания недалеко уже и до взрыва, до сознательного возмущения.

В октябре 1840 года критик в одном из писем пишет В. П. Боткину:

«Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью. Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эмансипатор общества от кровавых предрассудков предания. Да здравствует разум, да скроется тьма!»

11 декабря 1840 года тому же Боткину он писал:

«Проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне... А это насильственное примирение с гнусной расейской действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чиновлюбия, крестолубия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости посредственности и бездарности, — где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мысли ист-

реблена... где Пушкин жил в нищете и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляют всей литературой помощью доносов и живут припеваючи... Нет, да отсохнет язык, который закнётся оправдывать все это!»

Теперь ему с болью в сердце приходилось вспоминать, сколько «отвратительных мерзостей» сказано им печатно в «примирительный» период. Больше всего его печалила выходка против Мицкевича. Статью о Менцеле он признавал гадкой. Тяжело вспоминал он и о статье «Горе от ума», в которой с пренебрежением осудил благороднейшее гуманистическое произведение Грибоедова.

Глубоко изучив реальную действительность, он ужаснулся ее и понял свой ошибочный шаг на пути примирения. Он признал, что нельзя замыкаться в скорлупу личной жизни, и отдал все свои силы на служение обществу. В 1841 году в письме В. П. Боткину он говорил, что всякая попытка приобрести душевную уравновешенность в замкнутом кружке является нелепостью, потому что «без общества нет ни дружбы, ни любви, ни духовных интересов, а есть только порывания ко всему этому, порывания неровные, бессильные, без достижения, болезненные, недействительные». Вспоминая пережитое, Виссарион Григорьевич в другом письме Боткину признается (8 сентября 1841 г.), что попытка уйти в мир чистой мысли привела его к пропасти. «Ища исхода, — писал Виссарион Григорьевич, — мы с жадностью бросились в обаятельную сферу германской созерцательности и думали мимо окружающей нас действительности создать себе очаровательный, полный тепла и света, мир внутренней жизни... Действительность разбудила нас и открыла нам глаза».

В момент пробуждения от «апатического сна» происходит коренная переоценка философского наследия и окончательный разрыв с немецкой реакционной идеалистической философией и в первую очередь с Гегелем, влияние которого он испытал в примирительный период. Общественно-политические вопросы охватывают его настолько, что он готов бороться с гнусной мерзостью, пока в руках держится перо. Пересматривая свои взгляды, критик имел полное основание заявить: «Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейской действительностью».

Белинский подверг сокрушительной критике философию Гегеля. Некоторое время он увлекался его системой, новизной основных идей диалектического развития, но никогда гегелевская философия не удовлетворяла его своим содержанием. Об отношении Белинского к философии Гегеля хорошо сказал преемник великого демократа Н. Г. Чернышевский: «Никогда не удовлетворяла она его своим положительным содержанием. Он всегда рвался вперед, не-

годуя на стеснительное бесстрашие Гегеля, всегда вносил в это холодное созерцание патетический жар своей живой натуры». Еще в письме к Бакунину от 12 октября 1838 года, когда, казалось, авторитет Гегеля признавался русскими идеалистами без оговорок, неистовый Виссарион говорит о самостоятельности своих мнений и не признает себя учеником немецкого философа: «Когда дело идет об искусстве и особенно о его непосредственном понимании, или о том, что называется эстетическим чувством, или восприимлемостью изящного, — я смел и дерзок, и моя смелость и дерзость, в этом отношении, простираются до того, что и авторитет самого Гегеля им не предел...»

Белинский и его друзья, по словам Н. Г. Чернышевского, «открыли пробелы и непоследовательности системы Гегеля, увидели погрешности в ее выводах, несогласие принципов ее с результатами, основных идей с применениями, постигли и односторонность принципов, — и могли наконец сказать: теперь мы постигаем все, что постигал Гегель, но постигаем яснее и полнее, нежели он».

Критика Белинского направлена не только против консервативной стороны выводов, а против всей философии Гегеля как апологии прусской монархии, гнуснейшего пережитка феодализма.

«Я давно уже подозревал, — писал он Боткину 1 марта 1841 года, — что философия Гегеля только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов никуда не годится... Он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе над кладбищем...»

Неистовый Виссарион называет Гегеля палачом свободы и разума и требует от него отчета во всей истории развития жизни, во всех ее проявлениях.

«Благодарю покорно, Егор Федорович, — писал он, — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр...»

Хорошо прусское правительство, в котором мы мнили видеть идеал разумного правительства! Член тройственного союза палачей свободы и разума. Вот тебе и Гегель!»

Великий русский мыслитель раньше других заметил, что философия Гегеля обращена к прошедшему и не могла служить настоящей и тем более будущей свободной жизни. Он указывал, что в лице Гегеля идеалистическая философия достигла предела развития и что нет возможности после нее сделать шаг вперед, не оставив за собою идеализма.

Белинский приветствовал рождение новой филосо-

фин, которая шла навстречу жизни. Зародыши ее он заметил в левой стороне «гегелианства»: «Теперь уже это не школьная и не книжная философия, знающая только самое себя и уважающая только собственные интересы, холодная и равнодушная к миру, которого сознание составляет ее содержание». С новых позиций оценивалась в середине сороковых годов и вся реакционная немецкая идеалистическая философия, которая, по мысли критика, слишком удалилась от жизни, не шла навстречу передовым запросам, а ограничилась исключительно сферой самой себя, погрузившись в анализ разума, как силы действующей, и мысли, как предмета разума. Отсюда ее аскетизм, холодный и сухой характер, ее суровое одиночество.

Отвергнув реакционную немецкую философию, революционер-демократ разрабатывает свою теорию, особенностью которой является признание материализма, диалектики и утопического социализма. О диалектическом развитии говорится в первой статье Белинского «Литературные мечтания». Теперь же он подошел к этому вопросу с позиций материализма и вступил в спор с Гегелем. Последний, как известно, утверждал, что развитие в мире осуществляется по кругам, при этом замкнутым, так как целью прогресса, с его точки зрения, было самопознание абсолютного духа. Белинский же не ограничивает развитие, признает его вечным и непрерывным движением вперед, без возврата назад. В рецензии на книгу Лоренца он утверждал, что человечество движется не прямою линией и не зигзагами, а спиральным кругом и в своем ходе образует множество кругов, из которых последующий обширнее предшествующего и поднимается выше и выше.

Белинский идет дальше Фейербаха в вопросах истории. Он понимал великую историческую связь явлений и их обусловленность социальными отношениями. В противоположность Фейербаху, утверждавшему, что религия — свойство человеческой природы, Белинский указывал, что она — продукт общественных отношений.

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» дается глубокий исторический анализ литературы, высказываются материалистические положения: об относительности истины («Идея истины и добра признавалась всеми народами, во все века; но что непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью или злом для другого народа в другой век»), о случайности и необходимости («Петр Великий мог построить Петербург... выше, т. е. дальше от моря, чем теперь; мог сделать новой столицей Ревель или Ригу; во всем этом играла большую роль случайность, разные обстоятельства; но сущность дела была не в том, а в необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы нам средство легко и удобно сносятся с Европой»).

После перелома устанавливается иное отношение

великого демократа к жизни. Его влекло теперь в мир «истории и действительности», и он стал выяснять, в чем заключается главный запрос современного исторического момента. Все более и более возрастает интерес к общественным, политическим вопросам. Круг интересов критика значительно расширяется. Помимо проблем философских и литературных в статьях затрагивались вопросы истории и политики.

Сближение с общественными явлениями заставляет Белинского подойти вплотную к вопросу об обществе и роли личности.

«Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на правде и доблести».

Белинский приходит к идее социализма, которая стала для него «идеей идей, бытием бытия».

Во весь рост встает вопрос о народе, о массах. «Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу делиться с теми, кто должен быть моими братьями...»

— ...Прочь же от меня блаженство, если оно достояние одному из тысяч...»

Отвергнув гнусную действительность николаевского режима, великий трибун становится поборником нового демократического мира. Под этим знаком проходит последний и самый плодотворный период его литературной деятельности. 1843—1848 годы — время наибольшего расцвета таланта великого критика.

Статьи, очерки, письма Белинского сороковых годов все больше и больше утверждают новое мировоззрение — идею борьбы за право человека, идею революционного переустройства мира. У него находим гениальные догадки по вопросам общественного и экономического устройства.

В отличие от славянофилов ему ясно, что для России капитализм — необходимый момент ее истории, он видит и понимает неизбежность зарождения буржуазии. В письме к Анненкову 15 февраля 1848 года он писал:

«А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Но вместе с тем он подвергает критике систему капитализма и находит, что капитализм несет ужас и нищету пролетариату.

«Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату. Этой платы бедному рабочему не всегда ставит на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства; а богатый собственник с этой платы берет 99 процентов на сто».

И в другом месте:

«Что за нищета в Германии, особенно в несчастной Силезии, которую Фридрих Великий считал лучшим перлом в своей короне. Только здесь я понял ужасное значение слов: пауперизм и пролетариат».

Ясное осознание социальных противоречий, присутствующих капиталистическому обществу, отличает воззрения Белинского от либеральных взглядов представителей правого крыла западников.

Он прекрасно понимает причину забитости крестьянства и ужас его положения, понимает его протест, сознает свою ответственность перед народом, хотя не видит еще в нем движущей революционной силы.

Но, несмотря на одиночество, критик продолжает борьбу за революционное переустройство общества.

Белинский — сторонник демократического строя, «республиканской тенденции в нашем освободительном движении». К либералам он относится с явной враждебностью:

«Все наши либералы ужасные подлецы: они не умеют быть подданными, они холопы: за углом любят побранить правительство, а в лицо подличают, не по нужде, а по собственной охоте».

Великий демократ мечтал о свободном народном государстве, где будет равенство и братство.

«Я сказал, — писал он к Боткину в декабре 1847 года, — что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах».

V

Итак, Белинский переходит на позиции материализма и революционного демократизма.

В одном из писем он говорит об активном вмешательстве в исторический процесс, о революционной переделке мира:

«Я ожесточен против всех субстанциональных начал, связывающих в качестве верования волю человека. Отрицание мой бог... И настанет время — я горячо верю этому... настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы... Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья... Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысяч в сравнении с унижением и страданием миллионов... Я все думал, что понимаю революцию — вздор, — только начинаю понимать».

Как и прежде, критик сознавал, что единственно возможной формой проявления политической деятельности остается литература. В статье «Мысли и заметки о русской литературе» (1846) он говорит: «Какова бы ни была наша литература... в ней, в одной ней вся

наша умственная жизнь и вся поэзия нашей жизни». В связи с этим повышаются и требования к литературе.

«Время рифмованных побрякушек прошло невозвратно, — писал критик, — оцущеньица и чувствованьица ставятся ни во что: на место того и другого требуются глубокие чувства и идеи, выраженные в художественной форме...»

«Поэт уже не может жить в мечтательном мире: он уже гражданин царства современной ему действительности... Общество хочет в нем видеть уже не потешника, но представителя своей духовной, идеальной жизни; оракула, дающего ответы на самые мудреные вопросы; врача, в самом себе, прежде других, открывающего общие боли и скорби и поэтическим воспроизведением исцеляющего их» («Стихотворения Аполлона Майкова»).

Раньше литература и действительность им воспринимались преимущественно с эстетической точки зрения. Всякое истинно художественное произведение служило откровением жизни и сглаживало острые противоречия между идеалом и действительностью. Критик писал о тайне творчества и силе гения, в душе которого нет противоречий и который силою личного дара открывает человечеству гармоничный, радостный мир. Творческий акт представлялся таинственным ясновидением, поэтическим сомнамбулизмом, совершающимся независимо от воли, так как «творчество бесцельно с целью, бессознательно с сознанием».

Теперь во весь рост поставлен вопрос об искусстве больших идей и страстей, об искусстве, глубоко связанном с общественной жизнью, доступном, простом и понятном для народа.

Он нападает на романтизм, видя в нем выражение натянутых, экзальтированных, лживых понятий о жизни, извращающих умственные и нравственные силы человека, ведущих к фразерству и пошлости, к самообольщениям и кичливости. Под именем романтизма клеймилась натянутость, болезненная апатия, гордое разочарование и уход от жизни в личные интересы. Ставя перед литературой важную задачу — быть средством выражения общественной мысли, он обрушивается на тех идеалистов, которые полагали, что «жизнь должна идти своей дорогой, а искусство своей, не соприкасаясь друг с другом», и доказывает, что литература может приобрести большое значение, если «она будет не забавой праздного безделья, а сознанием общества... и не только верным отголоском общественного мнения, но и его ревизором и контролером» («Русская литература в 1843 году»).

В период примирения Белинский признавал, что искусство выше жизни. В статье «Стихотворения М. Лермонтова» сказано: «Искусство выше природы настолько, насколько всякое сознательное и свободное

действие выше бессознательного и невольного». В дальнейшем, после духовного кризиса, он приходит к формуле: «жизнь выше искусства».

«При немецкой апатической терпимости ко всему, — писал он в статье пятой о сочинениях Пушкина, — что бывает и делается на белом свете, при немецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не может сделаться ничем, — мысль, высказанная Гете, ставит искусство целью самому себе, и через это самое освобождает его от всякого соотношения с жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных проявлений жизни».

Критик указывал, что искусство — одна из сфер сознания, и считал, что глубоко ошибаются те умозрительные судьи изящного, которые хотят видеть в искусстве совершенно отдельный мир, существующий независимо от других сфер сознания и от истории.

Отсюда вывод, что искусство подчинено, как и все живое, процессу исторического развития и что искусство нашего времени есть выражение в изящных образах современного сознания и, следовательно, поэт — орган и представитель общества, времени, человечества.

«Сочинения, — писал критик, — в которых люди ничего не узнают своего и в которых все принадлежит поэту, не заслуживают никакого внимания, как пустяки» («Сочинения Александра Пушкина»).

Прежде Белинский считал себя последователем идеи красоты как единой цели искусства. Теперь же он признал, что хотя красота необходимое условие искусства, но без мысли и типического обобщения не может поэт создать высокохудожественного произведения.

«Талант имеет нужду в разумном содержании, как огонь в масле, чтобы не погаснуть, — писал критик. — Свобода творчества легко согласуется с служением современности. Для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насильствовать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями. Для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которая не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни».

Отказавшись от примирения с действительностью, Белинский требует «не апатичного» равнодушия к рисуемому им миру, а субъективности художника, проводящего через свою душу явления внешнего мира, и ставит вопрос о собственном характере творений каждого поэта, о творческом пафосе.

Дух анализа, неукротимое стремление к исследованию и критике, поиски ответа на тревожные, болезненные вопросы настоящего, — так себе представляет Виссарион Григорьевич задачи поэта.

Далее великий критик развивает мысль о партийности искусства и говорит: «Не принадлежать к партии может только гений и то потому, что он сам знамя, под сень которого не замедлит стать огромная партия. Претензия не принадлежать к партии всегда совпадает с претензией одному видеть ясно безусловную истину, на которую все другие смотрят сквозь тусклые очки парциальных пристрастий; но чистая, безусловная истина есть только логический абстракт; всякая живая истина всегда носит на себе отпечаток временного, условного».

И вместе с провозглашением партийности, идейной тенденциозности Белинский ведет борьбу за художественное совершенство против фотографирования и натурализма.

Во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» критик указывал, что поэт тогда только создает настоящее произведение искусства, когда выражает не частное и случайное, но общее и необходимое. Так же глубоко ставится Белинским вопрос о типическом в искусстве.

«...Когда в романе или повести, — писал он годом позднее, — нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего типического — как бы верно и тщательно не было списано с натуры все, что в нем рассказывается, читатель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного».

Он тесно связывает вопрос о художественности искусства с его общественным значением: «Вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства нигде и никогда не бывало...» («Взгляд на русскую литературу 1847 года»).

Белинский отстаивал реалистическое искусство. На образцах гоголевского творчества он утвердил принципы натуральной школы, то есть такого искусства, которое правдиво и бесстрашно изображало современную жизнь.

Белинский пропагандировал реализм как высшую степень развития искусства и верил, что новое время будет периодом небывалого расцвета искусства, что в свободном строе оно полностью раскроет свою сущность.

Он отмечал, что сближение с действительностью есть прямая причина мужественной зрелости последнего периода нашей литературы.

Действительность во всем ее многообразии — вот, по мысли критика, предмет искусства. Только тесная связь с жизнью способна одухотворить искусство, сделать его близким и нужным для народа.

«Всякое произведение, в каком бы оно роде ни было, — писал он, — хорошо во все века и в каждую минуту, когда по духу своему и по форме носит на себе печать своего времени и удовлетворяет все его требования».

Признавая в середине сороковых годов существование русской литературы как выражения народного самосознания, Белинский выступает за достижение русским искусством всемирно-исторического значения. В «Мыслях и заметках о русской литературе» читаем: «Необходимо, чтоб национальный поэт имел великое историческое значение не для одного только своего отечества, но чтобы его явление имело всемирно-историческое значение. Такие поэты могут являться только у народов, призванных играть в судьбах человечества всемирно-историческую роль, то есть своею национальною жизнью влиять на ход и развитие всего человечества».

Ежегодно критик писал обзоры русской литературы. Наиболее значительными статьями этого периода являются: «Стихотворения М. Лермонтова», «Русская литература в 1841 году», «Русская литература в 1842 году», «Сочинения Державина», «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Но самыми главными трудами надо считать «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и цикл статей «Сочинения Александра Пушкина» (1843—1846).

В этих трудах Белинский обнаруживает исключительный дар проникновенного историка литературы и гениального критика. В своих обзорах он становится на историческую точку зрения. Его статьи и сейчас остаются непревзойденными по глубине мысли и по тонкому пониманию художественного мастерства. Он раскрыл художественное творчество Державина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Герцена, начинающих Гончарова и Тургенева, молодого Достоевского и многих других. Появление новых талантов и новых ценных произведений доставляло ему невыразимую радость. Это свидетельствовало об огромной любви великого критика к своему народу, его литературе и талантам.

Белинский создал литературную науку, в основу которой положил идею народности. О народности он писал и раньше, но теперь народность стала основой его критики и жизни.

Весь творческий путь критика есть борьба за истинную народность, понимаемую прежде всего как борьба за демократию, за реализм и подлинный патриотизм.

Ведя борьбу с классицизмом и романтизмом, Белинский на основе творчества раньше Пушкина, а потом Гоголя формулирует положение, что народным является только реалистическое искусство, выражающее самое основное в жизни нации. По мысли критика, художник должен уметь соединять идейную тенденциозность, мечту о счастье народа с полной правдивостью

изображения жизни. Много раз подчеркивается, что сила гения в тесной связи с интересами своего народа. Всякий великий поэт потому и велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву общественности и истории. Что в народе бессознательно живет как возможность, то в гении является как осуществление, как действительность.

Уже в статье 1840 года о баснях Крылова говорится, что баснописец вполне исчерпал и выразил в баснях проявление русского национального духа и как в зеркале отразил русский практический ум, с его природной верностью взгляда на предметы и способностью кратко, ясно и вместе с тем образно выражаться.

В статьях о Пушкине проводится мысль, что Пушкин подлинно народный поэт и его народность состоит в правдивом и глубоком изображении характера и содержания русской жизни, в органической жизненности, источник которой заключается не в безотчетном стремлении к поэзии, но в том, что почвою поэзии Пушкина была живая действительность и «всегда плодотворная идея».

Критик признавал Пушкина родоначальником новой русской литературы и отнес его к числу тех гениев, тех исторических натур, которые, творя для настоящего, приготавливают будущее, и по тому самому уже не могут принадлежать только одному прошедшему. Он находил, что пафос его поэзии в художественности, так как назначение поэта было завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство, чтобы она могла выражать всякое направление и всякое созерцание, не боясь перейти в рифмованную прозу. И в этом смысле Пушкин поэт-художник, который, кажется, «больше ничем не мог быть по своей натуре» и навсегда останется «образцовым мастером поэзии, учителем искусства».

Вместе с тем отмечалась некоторая односторонность творчества Пушкина в том, что поэт избрал предметом своих песней «высокую сторону жизни», и в том, что его реализм более нравственный, чем социальный.

«Вся насквозь проникнутая гуманностью муза Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни, но она смотрит на них с каким-то самоотрицанием...»

Далее указывалось, что по своему воззрению на жизнь Пушкин принадлежал к той школе искусства, пора которой уже прошла. Так как, по мнению великого демократа, жизнью всякой поэзии в новое время являлись дух анализа, неукротимое стремление к исследованию, то поэзия Пушкина только одной стороной принадлежит настоящему и будущему, а другой — «своему настоящему, которое он вполне выполнил и которое для нас — уже прошедшее».

Белинский видел в авторе «Евгения Онегина» крупного поэта и вместе с тем представителя дворянского

класса и подчеркнул, что поэт «нападает в этом классе на всё, что противоречит гуманности, но принцип класса для него — вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и любованье». Взгляд на Пушкина как поэта чистой формы несколько односторонен и объясняется борьбой Белинского против эпитетов пушкинской поэзии и тех критиков, которые, отрицая обличительное направление в русской литературе, призывали литераторов к искусству, далекому от общественной жизни. Стремясь ввести литературу в демократическое русло, Белинский много внимания уделял анализу творчества Гоголя. Заслугу его он видел в том, что последний смело и прямо взглянул на русскую действительность. «Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени», — писал критик. Гоголь, как поэт «жизни действительной» давал огромный материал для критики крепостнической России. Поэтому так высоко оценил его великий демократ. О «Мертвых душах» Белинский с воодушевлением писал:

«Среди... фарисейского патриотизма, приторной народности, — вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патристическое, беспощадно сдвигивающее покров с действительности и дышащее страстию, нервию, кровною любовию к плодovitому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, — и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое».

В Гоголе критик увидел великого реалиста нового времени, беспощадного обличителя общественных пороков, писателя «с горячим сердцем, симпатическою душою и духовно-личною самостию».

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский, признавая Гоголя основателем натуральной школы, заявил: «преобладающий характер его сочинений — отрицание».

Молодого Достоевского он тоже относит к натуральной школе и приветствует за демократическое направление: «Честь и слава молодому писателю, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах». Критик высоко оценил повести Григоровича «Деревня» и «Антон Горемыка», «Записки охотника» Тургенева, роман Герцена «Кто виноват?».

С высоты новых требований пишет Белинский свою лебединую песню — знаменитое «Письмо к Гоголю», за чтение которого всходил на эшафот Достоевский, письмо, о котором молодой К. Аксаков писал, что нет уголка во всей России, где бы мыслящая революционная молодежь не читала, не знала бы его наизусть, не

видела бы в нем своей путеводной звезды. Этому письму большое значение придавал В. И. Ленин. Он писал:

«Его знаменитое «Письмо к Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору» (Ленин. Из прошлого рабочей печати в России, т. XVII, стр. 341).

Колоссальное значение письма в том, что Белинский в нем не только резко обличает крепостническую действительность, но вместе с тем пытается раскрыть ее сущность и окончательно утверждает точку зрения на литературу как огромное общественное дело, способное помочь раскрепощению народа.

Он характеризует крепостную Россию как «страну», где нет гарантий для личности, чести и собственности, где нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей.

В письме совершенно четко отразились настроения крестьянства, требования революционной демократии. В нем выражено горькое негодование по поводу того, что Гоголь после прекрасных произведений «Ревизор» и «Мертвые души» выпустил реакционную книгу. Возражая Гоголю, критик писал: «Спасение России в успехах цивилизации, просвещения и гуманности... России нужны не проповеди (довольно она их слыхала), не молитвы (довольно она их твердила), а возбуждение в народе чувства человеческого достоинства». Он далее указывал, что самыми животрепещущими вопросами в России того времени были: отмена крепостного права, отмена телесного наказания и соблюдение хотя бы тех законов, которые были изданы.

Письмо Белинского к Гоголю — боевой манифест передовой России сороковых годов. Царское правительство жестоко преследовало тех, кто распространял письмо.

Личная жизнь великого критика все время оставалась неустроенной и необеспеченной.

«Писать становится невозможнее и невозможнее, «огадили мне русскую литературу и вранье о ней сделали пыткой», — жаловался Белинский.

К тому же Краевский, издатель «Отечественных записок», немилосердно его эксплуатировал. В письме к Герцеву критик называет Краевского вампиром, всегда готовым высосать из человека кровь и душу, а потом бросить его за окно, как выжатый лимон.

В 1846 году Белинский оставил «Отечественные записки» вследствие разногласий с редакцией и перешел в «Современник». Революционное направление его творчества возбудило подозрение реакционных кругов. В од-

ном из доносов в жандармское управление говорилось, что в статьях Белинского и его последователей есть «что-то похожее на коммунизм, а молодое поколение может от них сделаться вполне коммунистическим».

Статьи критика стали подвергаться самому строгому рассмотрению в цензуре.

Наступил 1848 год — год революционных потрясений в Европе. В России наступила самая мрачная реакция. Усиливается нажим на Белинского. Только преждевременная смерть избавила великого критика от казематов Петропавловской крепости.

Чухотка оборвала жизнь Виссариона Григорьевича Белинского в расцвете дарования. Он умер 37 лет от роду — 26 мая 1848 года.

Прошло почти сто лет со дня смерти Белинского,

но его сочинения и теперь сохраняют живое значение, помогая нам в строительстве социалистической культуры.

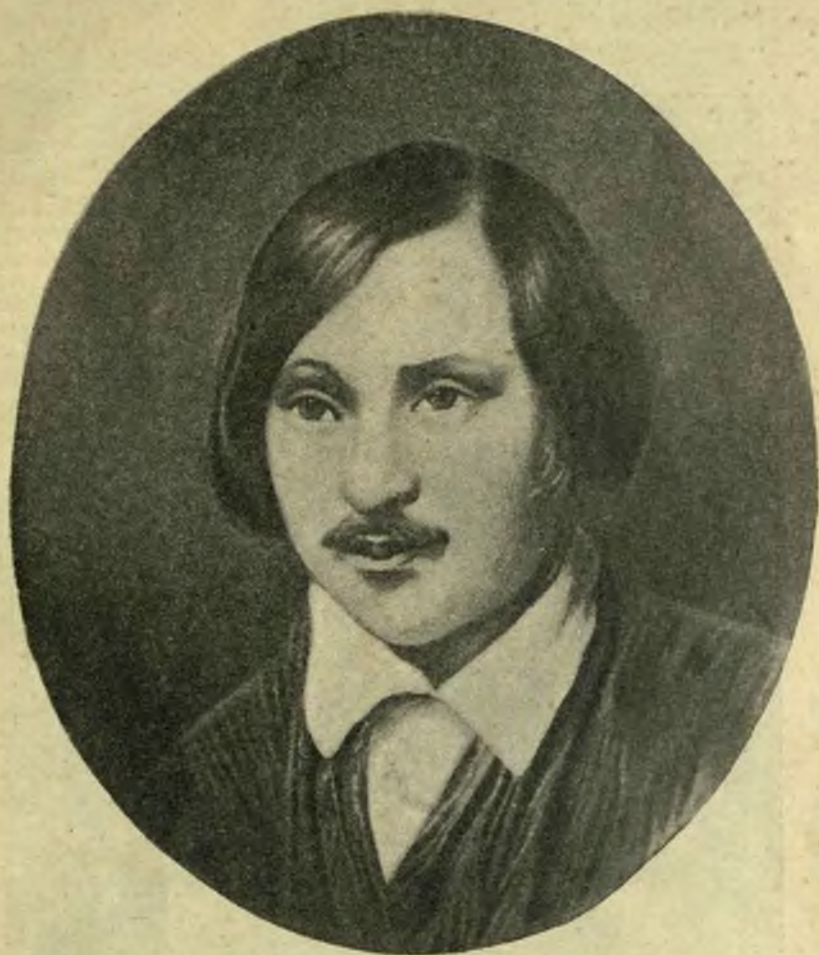
«В области литературы, — говорил т. Жданов в докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград», — наша партия устами Ленина и Сталина неоднократно признавала огромное значение великих русских революционно-демократических писателей и критиков — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Плеханова. Начиная с Белинского, все лучшие представители революционно-демократической русской интеллигенции не признавали так называемого «чистого искусства», «искусства для искусства» и были глашатаями искусства для народа, его высокой идейности и общественного значения».

Ф. Головенченко



В. Г. БЕЛИНСКИЙ В ВОЗРАСТЕ 27—28 ЛЕТ
(Акварель, принадлежащая П. Г. Моравеку)

Музей Константина Леонтьева
в Саратове



Н. В. ГОГОЛЬ

(Портрет художника А. А. Иванова)

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Les dieux étaient tombés, les trônes étaient vides! *

Какие же новые боги заступили вакантные места старых? Увы, они сменили их, не заменив! Прежде наши аристархи, заносившиеся юными надеждами, всех оболыщавшими в то время, восклицали в чаду детского простодушного упоения: *Пушкин — Северный Байрон, представитель современного человечества!* Ныне на наших литературных рынках наши неутомимые герольды вопиют громко: *Кукольник, великий Кукольник, Кукольник — Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира!* ³ *На колена перед Кукольником!* ** Теперь Баратынских, Подолинских, Языковых, Туманских, Ознобшинных сменили гг. Тимофеевы ⁴; Ершovy ⁵; на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы ⁶, по пословице: на безлюдья и Фома дворянин. Первые или подчуют нас изредка старыми погудками на старый же лад, или хранят скромное молчание; последние размениваются комплиментами, называют друг друга гениями и кричат во всеуслышание, чтобы поскорее раскупали их книги. Мы всегда были слишком неумеренны в раздаче лавровых венков гения, в похвалах корифеям нашей поэзии: это наш давнишний порок; по крайней мере, прежде причиною этого было невинное оболыщение, происходившее из благородного источника — любви к родному, ныне же решительно все основано на корыстных расчетах; сверх того, прежде еще и было чем похвастаться, ныне же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талант г-на Кукольника, мы все-таки не запинаясь можем сказать утвердительно, что между Пушкиным и им, г-ном Кукольником, пространство неизмеримое, что ему, г-ну Кукольнику, до Пушкина:

Как до звезды небесной далеко!

Да — Крылов и г. Зилов ⁷, «Юрий Милославский» Загоскина и «Черная женщина» г-на Греча, «Последний Новик» Лажечникова и «Стрельцы» г-на Масальского и «Мазепа» г-на Булгарина, повести Одоевского, Марлинского, Гоголя и повести, с позволения ска-

зать, г-на Брамбеуса!!!... Что все это означает? Какие причины такой пустоты в нашей литературе? Или в самом деле — *у нас нет литературы?*..

2

Pas de grâce!
H u g o. «Marion de Lorme» *

Да — у нас нет литературы!

«Вот прекрасно! вот новость!» слышу я тысячи голосов в ответ на мою дерзкую выходку. А наши журналы, неусыпно подвизающиеся за нас на ловитве европейского просвещения, а наши альманахи, наполненные гениальными отрывками из недоконченных поэм, драм, фантазий, а наши библиотеки, битком набитые многими тысячами книг русского сочинения, а наши Гомеры, Шексперы, Гёте, Вальтер Скотты, Байроны, Шиллеры, Бальзаки, Корнели, Мольеры, Аристофаны? Разве мы не имеем Ломоносова, Хераскова, Державина, Богдановича, Петрова, Дмитриева, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Баратынского и пр. и пр.? А! что вы на это скажете?»

А вот что, милостивые государи: хотя я и не имею чести быть бароном, но у меня есть своя фантазия, вследствие которой я упорно держусь той роковой мысли, что, несмотря на то, что наш Сумароков далеко оставил за собою в трагедиях господина Корнелиа и господина Расина, а в притчах господина Лафонтена; что наш Херасков, в прославлении на лире громкой славы россов, сравнялся с Гомером и Виргилием и под щитом «Владимира» и «Иоанна» ⁸ по добру и здорову пробрался во храм бессмертия **; что наш Пушкин в самое короткое время успел стать наряду с Байроном и сделаться представителем человечества; несмотря на то, что наш неистощимый Фаддей Венедиктович Булгарин, истинный бич и гонитель злых пороков, уже десять лет доказывает в своих сочинениях, что не годится плутовать и мошенничать человеку *comme il faut*, что пьянство и воровство суть грехи непростительные, и который своими нравоописательными и нрав-

* Боги пали, троны опустели. *Ред.*

** «Библиотека для чтения» и Ивалидные представления к литературе?.

* Пошадь нет! (Гюго. «Марлон де Лорм»). *Ред.*

** То есть во «Всеобщую историю» г-на Кайданова.

ственно-сатирическими (не правильное ли *полицейскими*) романами и народно-юмористическими статейками на целые столетия двинул вперед наше *гостеприимное* отечество по части нравоисправления⁹; несмотря на то, что наш юный лев поэзии, наш могущественный Кукольник, с первого прыжка догнал всеобъемлющего исполина Гёте, и только со второго поотстал немного от Крюковского; несмотря на то, что наш достопочтенный Николай Иванович Греч (вкупе и влюбсе с Фаддеем Венедиктовичем) разанатомировал, разнял по суставам наш язык и представил его законы в своей тройственной грамматице¹⁰ — этой истинной скинии завета, куда кроме его, Николая Ивановича Греча, и друга его, Фаддея Венедиктовича, еще доселе не ступала нога ни одного профана; тот Николай Иванович Греч, который во всю жизнь свою не делал грамматических ошибок и только в своем дивном поэтическом создании «Черная женщина» — еще в первый раз, по улике чувствительного князя Шаликова, поссорился с грамматикою, видно увлекшись слишком разыгравшеюся фантазиею; несмотря на то, что наш г. Калашников заткнул за пояс Купера в роскошных описаниях безбрежных пустынь русской Америки — Сибири, и в изображении ее диких красот; несмотря на то, что наш гениальный Барон Брамбеус своею толстою *фантастическою* книгою на смерть прищлепнул Шамполиона и Кювье, двух величайших шарлатанов и надувателей, которых невежественная Европа имела глупость почитать доселе великими учеными, а в едком остроумии смял под ноги Вольтера, первого в мире остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убедительное и красноречивое опровержение нелепой мысли, будто у нас нет литературы, опровержение так умно и сильно провозглашенное в «Библиотеке для чтения» глубокомысленным азиатским критиком Тютюнджи-Оглу¹¹; — несмотря на все на это, повторяю: *у нас нет литературы!*.. Уф! устал! Дайте перевести дух — совсем задохнулся! Правда, от такого длинного периода поперхнется в горле даже и у Барона Брамбеуса, который и сам мастак на великие периоды....

Что такое литература?

Одни говорят, что под литературою какого-либо народа должно разуметь весь круг его умственной деятельности, проявившейся в письменности. Вследствие сего нашу, например, литературу составят «История» Карам-

зина и «История» гг. Эмина и С. Н. Глинки, исторические розыскания Шлецера, Эверса, Каченовского и статья г. Сенковского об «Исландских сагах», физики Велланского и Павлова и «Разрушение Коперниковой системы» с брошюркою о *клопах и тараканах*; «Борис Годунов» Пушкина и некоторые сцены из исторических драм *со штыями и анисовкою*, оды Державина и «Алексадроида» г. Свечина и пр. Если так, то у нас есть литература, и литература, богатая громкими именами и не менее того громкими сочинениями.

Другие под словом литература понимают собрание известного числа изящных произведений, то есть, как говорят французы, *chef d'oeuvres de litterature**. И в этом смысле у нас есть литература, ибо мы можем похвалиться большим или меньшим числом сочинений Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоедова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинского, кн. Одоевского, и еще некоторых других. Но есть ли хотя один язык на свете, на коем бы не было скольких-нибудь образцовых художественных произведений, хотя народных песен? Удивительно ли, что в России, которая обширностию своею превосходит всю Европу, а народонаселением каждое европейское государство, отдельно взятое, удивительно ли, что в этой новой Римской империи явилось людей с талантами более, нежели, например, в какой-нибудь Сербии, Швеции, Дании и других крохотных землях? Все это в порядке вещей, и из всего этого еще отнюдь не следует, чтобы у нас была литература.

Но есть еще третье мнение, не похожее ни на одно из обоих предыдущих, мнение, вследствие которого литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений. В истории такой литературы нет и не может

* выдающиеся произведения литературы. *Ред.*

быть скачков: напротив, в ней все последовательно, все естественно, нет никаких насильственных или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь чуждого влияния. Такая литература не может в одно и то же время быть и французскою, и немецкою, и английскою, и итальянскою. Это мысль не новая: она давно была высказана тысячу раз. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но увы! Как много есть пошлых истин, которые у нас должно твердить и повторять каждый день во всеуслышание! У нас, у которых так зыбки, так шатки литературные мнения, так темны и загадочны литературные вопросы; у нас, у которых один недоволен второю частью «Фауста», а другой в восторге от «Черной женщины», один бранит кровавые ужасы «Лукреции Борджиа», а тысячи услаждают себя романами гг. Булгарина и Орлова; у нас, у которых публика есть настоящее изображение людей после Вавилонского столпотворения, где

Один кричит арбуза,
А тот соленых огурцов;

наконец, у нас, у которых так дешево продаются и покупаются лавровые венки гения, у которых всякая смысленность, вспомоществуемая дерзостью и бесстыдством, приобретает себе громкую известность, нагло ругаясь над всем святым и великим человечества под какую-нибудь баронскую маскою; у нас, у которых купчая крепость на целую литературу и всех ее гениев доставляет тысячи подписчиков на иной торговый журнал; у нас, у которых нелепые бредни, воскрешающие собою позабытую ученость Тредьяковских и Эминых, громогласно объявляются *всемирными* статьями, долженствующими произвести решительный переворот в русской истории?..¹² Нет: пиши, говори, кричи всякий, у кого есть хоть сколько-нибудь бескорыстной любви к отечеству, к добру и истине: не говорю *познаний*, ибо многие печальные опыты доказали нам, что в деле истины познания и глубокая ученость совсем не одно и то же с беспристрастием и справедливостью...

Итак, оправдывает ли наша словесность последнее определение литературы, приведенное мною? Чтобы решить этот вопрос, бросим беглый взгляд на ход нашей литературы от Ломоносова, первого ее гения, до г-на Кукольника, последнего ее гения.

— «Как, что такое? Неужели обозрение?» — спрашивают меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсем обозрение, а похоже на то. Итак — silence!¹³ — Но что я вижу? Вы морщитесь, пожимаете плечами, вы хором кричите мне: «Нет, брат, стара шутка — не надуешь... Мы еще не забыли и прежних обозрений, от которых нам жутко приходилось! Мы, пожалуй, наперед прочтем тебе наизусть все то, о чем ты нам будешь проповедывать. Все это мы и сами знаем не хуже тебя. Ведь ныне не то, что прежде: тогда хорошо было вашей братье, непризванным обозревателям, морочить нас, бедных читателей, а теперь всякий отзавелся своим умишком, и в состоянии толковать вкось и вкривь о том и о сем»...

Что мне отвечать вам на это неизбежное приветствие?.. Право, ума не приложу... Однакож... прочтите, хоть так, от скуки — ведь ныне, знаете, нечего читать, так оно и кстати... Может быть — (ведь чем чорт не шутит!) — может быть, вы найдете в моем кратком — (слышите ли — *кратком!*) — обзоре, если не слишком хитрые вещи, то и не слишком нелепые, если не слишком новые, то и не слишком истертые... Притом же ведь чего-нибудь да стоят правда, беспристрастие, благонамеренность... Что, не верите? — Отворачиваетесь от меня, качаете головой, машете руками, затыкаете уши?.. Ну, бог с вами: божиться не стану, хотите читайте, хотите нет; ведь и то сказать, вольному воля!.. А впрочем, что же я расторгнулся с вами? Нет — прошу не погневаться: рады или не рады, а прочесть должны: зачем же грамоте учились? Итак, благословясь, к делу!

Вы, почтенные читатели, может быть, ожидаете, что я, по похвальному обычаю наших многоученных и досужих аристархов, начну мое обозрение с начала всех начал — с яиц Леды, дабы показать вам, какое влияние имели на русскую литературу создание мира, грехопадение первого человека, потом Греция, Рим, великое переселение народов, Атиллы, рыцарство, крестовые походы, изобретение компаса, пороха, книгопечатание,

¹³ Истина! Истина! Ничего кроме истины! *Ред.*

¹⁴ молчание! *Ред.*

открытие Америки, реформация, тридцатилетняя война и пр. и пр.? Вы, может статься, уже и не на шутку струхнули, ожидая, что я, без всякой вежливости, схвачу вас за ворот, потащу на пароход «Джон-Буль» и на нем, как на волшебном ковре-самолете, полечу прямо в Индию, в эту дивную родину человечества, в эту чудную страну Гималаев, слонов, тигров, львов, удавов, обезьян, золота, камней и холеры; вы, может быть, думаете, что я изложу вам содержание «Рамаяны» и «Махабхараты», разберу неподражаемые красоты «Саконталы», обнаружу перед вами все богатство этой многосложной и роскошной мифологии жрецов Магадевы и Шивы и распространюсь кстати о поразительном сходстве санскритского языка с славянским? Нет, милостивые государи, не обманывайте себя столь лестною надеждою: она не сбудется, и, кажется, на вашу же радость; ибо — признаюсь вам откровенно — священные писмена Вед для меня сущая тарабарская грамота, а поэм и драм индийских я не видывал даже и в переводах. Не ожидайте также, чтобы с берегов священного Гангеса я повел вас на цветущие берега Тигра и Евфрата, где младенец-человек разбил идолов и поклонился огню; не ждите, чтобы дерзкою рукою стал я срывать девственный покров с таинств древних магов или жрецов Озириса и Изиды на берегах многоводного Нила; не думайте, чтобы я завел вас мимоходом в пустыни Аравийские, чтобы на песчаном океане, у журчащего источника, под сению широколиственной пальмы объяснить вам семь славных Моаллакат. Правда, дорога в эти страны мне известна не меньше всех наших обозревателей; но боюсь пускаться с вами в такую даль: жалко вас — неравно устанете или собьетесь с пути. Не более того услышите от меня о Греции и ее изящной и богатой литературе; равным образом пройду роковым молчанием и вечный Рим. Нет — не бойтесь! Не хочу — подражая нашим прошедшим, настоящим, а может статься, и будущим обозревателям, которые всегда начинают на один лад, с яиц Леды, и оканчивают ровно ничем, которые, наскучив своим долговременным и скромным молчанием, принатужив свои умственные способности, одним разом высыпают из своих голов весь неистощимый запас своих огромных и разнообразных сведений и умещают его на нескольких страничках приятельского журнала или альманаха, — не хочу ворошить костями Гомер

ров и Virgiliев, Демосфенов и Цицеронов; и без меня довольно достается им, беденьким. Не только не стану наводить справок, с каких родов начали писать или петь первобытные поэты, с гимнов или молитв, но даже не разыграю вам никакой прелюдии о литературе средних и новых веков, а начну прямо с русской. Этого мало: не буду толковать даже и о блаженной памяти *классицизме* и *романтизме*: вечная им память!

Ну, решите сами, любезные читатели! не чудак ли я, да и только? Как, принять на себя важную должность обозревателя и не воспользоваться таким прекрасным случаем выказать свою глубокую ученость, взятую напрокат из русских журналов, высказать множество светлых, резких, хотя уже и давно всем известных и, как горькая редька, надоевших истин, одобрит всю эту микстуру, весь этот винегрет намеками на то и на се, разукрасить его каламбурами и пестрым калейдоскопическим слогом, хотя бы наперекор здравому смыслу!.. Что, милостивые государи, вы удивляетесь? То-то же, ведь говорил вам: прочтите, авось не будете каяться... Подумайте хорошенько, а между тем еще раз повторю вам, что, к крайнему вашему огорчению, ничего этого не будет — а почему, о том читайте ниже — и дивитесь.

Во-первых: потому, что не хочу мучить вас зевотою, от которой и сам довольно страдаю.

Во-вторых: потому, что не хочу шарлатанить, то есть говорить свысока о том, чего не знаю, а если и знаю, то очень сбивчиво и неопределенно.

В-третьих: потому, что все это прекрасно на своем месте, но к русской литературе, предмету моего обозрения, нимало не относится: надеюсь открыть ларчик гораздо проще.

В-четвертых: потому, что твердо помню премудрое правило бывшего нашего критика, блаженной памяти Никодима Аристарховича Надоумка¹³, что *глупо, для переезда через лужу на челноке, раскладывать перед собою морскую карту*. Воля ваша, а я готов побойться, что покойник говорил правду. Было время, когда все затыкали уши от его невежливых выходок против тогдашних *гениев*, а теперь все жалеют, что уже некому припугнуть хорошенько нынешних: изволь тут угождать на весь свет! Впрочем, я это сказал так, à propos* — спешу к началу.

* кстати. *Ред.*

Французы называют литературу *выражением общества*; это определение не ново: оно давно нам знакомо. Но справедливо ли оно? Это другой вопрос. Если под словом *общество* должно разуметь избранный круг образованнейших людей или, короче сказать, *большой свет*, *beau monde*, тогда это определение будет иметь свое значение, свой смысл и смысл глубокий, но только у одних французов. Каждый народ, сообразно с своим характером, происходящим от местности, от единства или разнообразия элементов, из коих образовалась его жизнь, и исторических обстоятельств, при коих она развилась, играет в великом семействе человеческого рода свою особенную, назначенную ему провидением роль, и вносит в общую сокровищницу его успехов на поприще самосовершенствования свою долю, свой вклад; другими словами: каждый народ выражает собою одну какую-нибудь сторону жизни человечества. Таким образом, немцы завладели беспредельною областию умозрения и анализа, англичане отличаются практической деятельностью, итальянцы художественным направлением. Немец все подводит под общий взгляд, все выводит из одного начала, англичанин переплывает моря, прокладывает дороги, проводит каналы, торгует со всем светом, заводит колонии и во всем опирается на опыте, на расчете; жизнь итальянца прежних времен была любовь и творчество, творчество и любовь. Направление французов есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вечно движущаяся. Немец творит мысль, открывает новую истину, француз ею пользуется, проживает, издерживает ее, так сказать. Немцы обогащают человечество идеями; англичане изобретениями, служащими к удобствам жизни; французы дают нам законы моды, предписывают правила обхождения, вежливости, хорошего тона. Словом: жизнь француза есть жизнь общественная, паркетная; паркет есть его поприще, на котором он блистает блеском своего ума, познаний, талантов, остроумия, образованности. Для французов бал, собрание — то же, что для греков была *площадь* или *игры Олимпийские*: это битва, турнир, где, вместо оружия, сражаются умом, остроумием, образованностью, просвещением, где честолюбие отражается честолюбием, где много ломается копий, много выигрывается и проигрывается побед. Вот отчего ни один народ не может сравняться с французами в этой обходительности, в этой

изящной ловкости и любезности, для выражения которых словами, опять-таки, способен только один французский язык; вот отчего все усилия европейских народов сравняться в сем отношении с французами всегда оставались тщетными; вот отчего все другие общества всегда были, суть и будут смешными карикатурами, жалкими пародиями, злыми эпиграммами на французское общество; вот почему, говорю я, это определение словесности, вследствие которого она должна быть *выражением общества*, так глубоко и верно у французов. Их литература всегда была верным отражением, зеркалом общества, всегда шла с ним рука об руку, забывая о массе народа, ибо их общество есть высочайшее проявление их народного духа, их народный жизни. Для писателей французских общество есть школа, в которой они учатся языку, заимствуют образ мыслей, и которое они изображают в своих творениях. Совсем не так у других народов. В Германии, например, не тот учен, кто богат или вхож в лучшие дома и блистательнейшие общества; напротив, гений Германии любит чердаки бедняков, скромные углы студентов, убогие жилища пасторов. Там все пишет или читает, там публика считается миллионами, а писатели тысячами; словом: там литература есть выражение не общества, но народа. Таким же образом, хотя и не вследствие таких же причин, литературы и других народов не суть выражение общества, но выражение духа народного; ибо нет ни одного народа, жизнь которого преимущественно проявлялась бы в обществе, и можно сказать утвердительно, что Франция составляет в сем случае единственное исключение. Итак, литература непременно должна быть выражением — символом внутренней жизни народа. Впрочем, это совсем не есть ее определение, но одна из необходимейших ее принадлежностей и условий. Прежде, нежели я буду говорить о России в сем отношении, почитаю необходимым изложить здесь мои понятия об *искусстве* вообще. Я хочу, чтобы читатели видели, с какой точки зрения смотрю я на предмет, о котором звался судить, и вследствие каких причин я понимаю то или другое так, а не этак.

Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной *идеи* (мысли единого, вечного бога), проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бес-